## Осип Эмильевич Мандельштам

*Нельзя дышать, и твердь кишит червями,*

*И ни одна звезда не говорит,*

*Но видит бог, есть музыка над нами, —*

*Дрожит вокзал от пенья аонид,*

*И снова, паровозными свистками*

*Разорванный, скрипичный воздух слит…*

Родился 2 (14) января 1891 года в Варшаве в купеческой семье.

Окончил Тенишевское училище в Петербурге. С октября 1907 по лето 1908 года жил в Париже. Побывал в Швейцарии и в Италии. Еще раз (и в последний) Мандельштам побывал в Европе в 1909–1910 годах, даже два семестра проучился в Гейдельберге. «Тоненький, щуплый, – вспоминал о нем К. Мочульский, – с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно. С хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: „Я написал новые стихи“. Закидывал голову, выставляя вперед острый подбородок, закрывал глаза – у него веки были прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, – и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву. Читая стихи, он погружался в „апокалиптический сон“, опьянялся звуками и ритмом. И, когда кончал, – смущенно открывал глаза, просыпался… В 1912 году Осип Эмильевич поступил на филологический факультет Петербургского университета. Ему нужно было сдать экзамен по греческому языку, и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он размахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени у глагола „пайдево“ (воспитывать) звучит „пепайдекос“, он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал, что он ничего не приготовил, зато написал стихи…»

В литературную жизнь Мандельштама ввел В. Гиппиус, – его друг, писавший стихи под псевдонимами В. Бестужев и В. Нелединский. В 1909 году Мандельштам начал активно посещать «башню» Вячеслава Иванова, в 1910 году в «Аполлоне» появились первые его стихи, а в 1912 году Мандельштам состоял уже в объединении акмеистов.

«Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников, – вспоминала Ахматова. – Он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки. С необычайной легкостью О. Э. выучивал языки. „Божественную комедию“ читал наизусть страницами по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю (жену) выучить его английскому языку, которого совсем не знал. О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку. О Пастернаке говорил: „Я так много думал о нем, что даже устал“ и „Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки“. О Марине (Цветаевой): „Я – антицветаевец“. В музыке О. Э. был дома, и это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты, называя ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Вторым и частым его огорчением были читатели. Ему постоянно казалось, что его любят не те, кто надо…»

В 1913 году вышла книга стихов – «Камень». В литературных кругах Мандельштама уже знали. «Вбегал Мандельштам, – вспоминал позже Георгий Иванов, – и, не здороваясь, искал „мецената“, который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Мандельштам вечно мерз, шубы не имел, кутался поверх осеннего пальто в башлыки и шарфы, что плохо помогало. Однажды он ехал с Гумилевым в „Гиперборей“ на извозчике и вел какой-то литературный спор. В пылу спора Гумилев не заметил, что ядовитые реплики из-под башлыка становились все реже и короче. И вдруг уже недалеко от гиперборейского подъезда на колени Гумилеву падает совсем бесчувственный Мандельштам. Споря, он замерз. И его долго растирали, тормошили и отпаивали, прежде чем привели в чувство. Поэт Владимир Нарбут требовал себе медали за спасение погибающего. Он уверял, что, пока все без толку хлопотали над замерзшим, он догадался поднести к его носу трехрублевку. Близость столь крупной суммы будто бы и подействовала оживляюще на всегда безденежного поэта…»

В 1919 году Мандельштам находился в Крыму. Там его арестовала врангелевская контрразведка. Волошин отправился в Феодосию, но вернулся оттуда мрачный. Эренбургу, который в то время гостил в Коктебеле, он рассказал, что белые считают Мандельштама опасным преступником, уверяют, будто он симулирует сумасшествие: когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: «Вы должны меня выпустить – я не создан для тюрьмы».

Сохранилось заявление, с которым Волошин обратился к начальнику врангелевского Политического розыска полковнику Апостолову:

«Политическим розыском на этих днях арестован поэт Мандельштам. Так как Вы по своему служебному положению вовсе не обязаны знать современную русскую поэзию, то считаю своим долгом осведомить вас, что О. Мандельштам является одним из самых крупных имен в последнем поколении русских поэтов и занимает вполне определенное и почтенное место в истории русской лирики. Сообщаю вам это, дабы предотвратить возможные всегда ошибки, которые для Вас же могут оказаться неприятными. Мандельштам, как большинство поэтов, человек крайне нервный, поддающийся панике, а за его духовное здоровье перед культурной публикой в конце концов будете ответственны Вы. Не мне, конечно, заступаться за Мандельштама политически, тем более, что я даже не знаю, в чем его обвиняют, но могу только сказать, что для всех, знающих Мандельштама, обвинение его в большевизме, в партийной работе – есть абсурд. Он человек легкомысленный, общительный и ни к какой работе не способный и никакими политическими убеждениями не страдающий».

Еще раз Мандельштама арестовали в Батуми – на этот раз береговая охрана грузинского меньшевистского правительства. Здесь спасли поэта Николо Мицишвили и Тициан Табидзе. Зато, пройдя через все эти опасности, там, на юге России, Мандельштам встретил верную спутницу всей своей жизни – Надежду Яковлевну Хазину. «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно, – вспоминала позже Ахматова. – Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах… Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в Лицее. Я была у них несколько раз – приезжала кататься на лыжах… Была я у Мандельштамов и летом в Китайской деревне, где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов. Для О. Э. нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский, и Карамзин…»

«В Петрограде, – подтверждал Николай Чуковский, – он (Мандельштам) прожил до весны 1922 года, и я встречал его в Доме искусств и у Наппельбаумов. Из Дома искусств он переехал в Дом ученых, где Горький дал ему комнату, и я как-то зимой был там у него. Окно выходило на замерзшую Неву, мебель была роскошная, с позолотой, круглые зеркала в золоченных рамах, потолок был высочайший, со сгустившейся под ним полутьмой, в углу стояли старинные часы – величиной с шкаф, которые отмечали не только секунды, минуты и часы, но и месяц, и число месяца. Мандельштам лежал на кровати, лицом к окну, к Неве, и курил, и в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос, – ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту – безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада…»

Как свидетельствуют многие знавшие Мандельштама люди, он действительно не походил на других поэтов и все явления, связанные с поэзией, оценивал по-своему. Например, выгнал из дома некоего молодого человека, пожаловавшегося на то, что его не печатают. Молодой человек убегал по лестнице, а Мандельштам сверху кричал оскорбленно: «А Андре Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса печатали?» Это было продуманное отношение к искусству, оно относилось и к друзьям, и к врагам, и к людям случайным. «Я читал последние свои стихи, – вспоминал позже Николай Чуковский, к которому Мандельштам относился очень дружески, – читал старательно и именно так, как читал он сам и все акмеисты, то есть подчеркивая голосом звуковую и ритмическую сторону стиха, а не смысловую. Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил: „Еще“. И я читал еще. А когда я прочитал все, что мог, он мне сказал: „Каким гуттаперчивым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие“. Это суждение его было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи…»

«Существовали причины, – писал литературовед С. С. Аверинцев, – по которым положение Мандельштама и Ахматовой (после революции) стало неуютным несколько ранее, чем положение других больших поэтов. Какую-то роль играл биографический, можно сказать, хронологический фактор, по своей сути вполне случайный. Если поэт по-настоящему составил себе имя только после революции, это само по себе побуждало воспринимать его как поэта советского, не „старорежимного“. Так было с Пастернаком: хотя он родился как раз между годами рождений Ахматовой и Мандельштама, хотя „Близнец в тучах“ вышел всего на год позже „Камня“ и на два года позже „Вечера“, заметили его только после выхода „Сестры моей – жизни“, в 1922 году (принадлежность к футуристическим кругам тоже была для 20-х годов лучшей рекомендацией, чем принадлежность к акмеистической группе). С другой стороны, если поэт составил себе имя достаточно задолго до революции в качестве деятеля символизма, его репутация воспринималась как „старорежимная“, но в самой своей „старорежимности“ солидная: он был бесспорным реликтом старой культуры до поры до времени состоящим под охраной. С Ахматовой и Мандельштамом было хуже: оба были на виду в 10-е годы, тогда выработали свои навыки поведения в литературе и в жизни, вообще прочно ассоциировались с этой порой, а потому не могли избежать обвинения в старомодности, в котором неразличимо переплетались мотивы политические („старорежимность“) и эстетические (устаревшая поэтика). Они воспринимались как старики, пришедшие из старого мира. Но на самом деле они были еще совсем молоды, и репутация их, будучи установившейся, не была освящена временем и пиетета не вызывала…»

В середине двадцатых Мандельштам работал в основном над автобиографической прозой – «Шум времени» (1925) и «Египетская марка» (1928). Отвечая на анкету «Советский писатель и Октябрь», писал: «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня „биографию“, ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту. Подобно многим другим, чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она пока не нуждается. Вопрос о том, каким должен быть писатель, – для меня совершенно непонятен: ответить на него – то же самое, что выдумать писателя, а это равносильно тому, чтобы написать за него его произведения. Кроме того, я глубоко убежден, что, при всей зависимости и обусловленности писателя соотношением общественных сил, современная наука не обладает никакими средствами, чтобы вызвать появление тех или иных желательных писателей. При зачаточном состоянии евгеники, всякого рода культурные скрещивания и прививки могут дать самые неожиданные результаты. Скорее возможна заготовка читателей; для этого есть прямое средство: школа».

*«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда, как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками звезда… И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье – обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бадье…»*

Из Ленинграда Мандельштам перебрался в Москву. Почему-то ему казалось, что в Москве его больше ценят. Действительно, благодаря содействию Н. И. Бухарина, в 1928 году вышел сборник Мандельштама – «Стихотворения», а позже Мандельштам побывал в Армении, но как раз эта последняя опубликованная при жизни работа поэта – «Путешествие в Армению» (1933) – вызвала разгромную рецензию на страницах «Правды». И совсем безнадежным стало положение поэта после того, как стали известны его антисталинские стихи.

*«Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи на десять шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны, тараканьи смеются глазища и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову, дарит за указом указ – кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него – то малина и широкая грудь осетина».*

13 мая 1934 года Мандельштама арестовали.

«В этот самый день, – вспоминала Ахматова, – я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда. Мы все были тогда такими бедными, что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей палаты, последний, данный Ремизовым в России, и статуэтку работы Данько (мой портрет, 1924 г.) для продажи. (Их купила С. Толстая для музея Союза писателей)… Ордер на обыск был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел „Волка“ (*«За гремучую доблесть грядущих веков…»* ) и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в 7 утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату, я – к Чулковым на Смоленский бульвар, 8, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, опять они, опять обыск. Евг. Як. Хазин сказал: «Если они придут еще раз, то уведут вас с собой». Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину, я – в Кремль к Енукидзе. Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: «А может быть, какие-нибудь стихи?» Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. Приговор – три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему казалось, что за ним пришли… и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место. Потом звонил Пастернаку.

Остальное слишком известно.

Вместе с Пастернаком я была и у Усиевич, где мы застали и союзное начальство, и много тогдашней марксистской молодежи. Была у Пильняка, где видала Балтрушайтиса, Шпета и С. Прокофьева. Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш… Бухарин в конце своего письма Сталину написал: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему он не хлопотал. «Если б мой друг попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин не узнал бы об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» – «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». – «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замялся, и Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения». Б. Л. думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы. «Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить». – «О чем?» – «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку… Надя никогда не ходила к Борису Леонидовичу и ни о чем его не молила, как пишет Роберт Пейн. Эти сведения идут от Зины (жены Пастернака), которая знаменита бессмертной фразой: мои мальчики (сыновья) больше всего любят Сталина – потом маму… Женщин в тот день приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные, в свежих весенних платьях: еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут; красавица «пленная турчанка» (как мы ее прозвали) – жена Зенкевича; ясноокая, стройная и необыкновенно спокойная Нина Ольшевская. А мы с Надей сидели в мятых вязанках, желтые и одеревеневшие…»

В Чердыни Мандельштаму было разрешено сотрудничать на местном радио, а затем ему даже позволили выбрать Воронеж в качестве места жительства. Пытаясь выжить, он написал «Оду Сталину». Но это уже ничего не могло изменить. «В феврале 1936 года, – вспоминала Ахматова, – я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала подробности его „дела“. Он рассказал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь приезда челюскинцев считал поставленными в честь моего приезда… Поразительно, – заметила Ахматова, – что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен…»

*«Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста, – на холсте уста вселенной, но она уже не та: в легком воздухе свирели раствори жемчужин боль, в синий, синий цвет синели океана въелась соль. Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты, складки бурного покоя на коленях разлиты. На скале черствее хлеба – молодых тростинки рощ, и плывет углами неба восхитительная мощь».*

В 1960 году Ахматова сделала приписку к заметкам о Мандельштаме:

«Перелом руки очень давал себя чувствовать: когда я приехала в Воронеж, он не мог сам надеть пальто, не мог и писать. Свои стихи он диктовал жене, и поэтому огромное количество его стихов написано не его почерком. Рядом с ним или, вернее, около него появился новый человек – Сергей Борисович Рудаков, молодой ленинградский литературовед и поклонник стихов Мандельштама. Всего один месяц Осип Эмильевич диктовал ему свои стихи (цикл „Чернозем“). Под конец этот юноша начал раздражать Осипа Эмильевича. Получив освобождение в июле 1938 г. (он был выслан в Воронеж), Рудаков вернулся в Ленинград, где продолжал заниматься Пушкиным. Я была в Пушдоме на его докладе о „Медном всаднике“. В конце войны он (Рудаков) был убит на фронте… И вот вчера мне пришлось увидеть письмо С. Б. Рудакова воронежского периода к его жене Л. С., в котором он утверждает, что 160 стихов (строк) Мандельштама написаны им, Рудаковым (или, вернее, сотворены из какой-то мертвой массы), что они втроем (он – Рудаков, Вагинов и Мандельштам) – составляют всю русскую поэзию (Пастернак, Цветаева и Ходасевич не в счет), что (о, ужас!) потомки будут восхищаться им, Рудаковым, что он объяснил Мандельштаму, как писать стихи и т. п. Все это, конечно, больше всего похоже на бред мании величия, но, если эти письма попадут в руки недоброжелателей, я могу себе представить, какие узоры будут расшиты на этой канве. Вся „работа“ Рудакова в настоящее время находится неизвестно где. Собственные стихотворные попытки Рудакова манерны, вычурны, действительно похожи на стихи Вагинова и других представителей тогдашней „левой“ поэзии, но ни на что большее претендовать не могут… В этом страшно одно. Какие бездны у каждого под ногой, какой змеиный шелест зависти и злобы неизбежно сопровождает людей, одаренных талантом. Придумать, что у нищего, сосланного, бездомного Мандельштама можно что-то украсть – какая светлая благородная мысль, как осторожно и даже грациозно она осуществлена, с какой заботой о потомках и о собственной, очевидно, посмертной славе. Подумать только, что эти письма (к жене) писались рядом с еще живым, полным мыслей и ритмов гениальным поэтом… в то время, как Надя делила всю еду на три равные части… Хочется закрыть лицо руками и бежать, но куда…».

В мае 1937 года срок ссылки истек. Мандельштамы вернулись в Москву, но жить в столице было опасно: одна из двух комнат, ранее принадлежавших Мандельштамам, была занята человеком, который регулярно писал на них доносы; приходилось кочевать по друзьям – Пастернак, Шкловские; несколько раз ездили в Ленинград. «Так они прожили год, – вспоминала Ахматова. – Осип был уже тяжело болен, но с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, „забыли“ послать повестки, и никто не пришел. О. Э. по телефону приглашал Асеева, тот ответил: „Я иду на «Снегурочку“. А Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал ему рубль…

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они – он и Надя – приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалиптическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню, куда. Все было, как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу…»

В апреле Мандельштаму неожиданно выделили бесплатные литфондовские путевки в дом отдыха в Саматиху. Именно там 2 мая 1938 года поэт был арестован в последний раз. Но теперь его сразу отправили далеко, на самый край страны. В единственном известном письме жене из Владивостока он писал: «Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги – не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей. Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя?»

27 декабря 1938 года умер в лагере под Владивостоком.